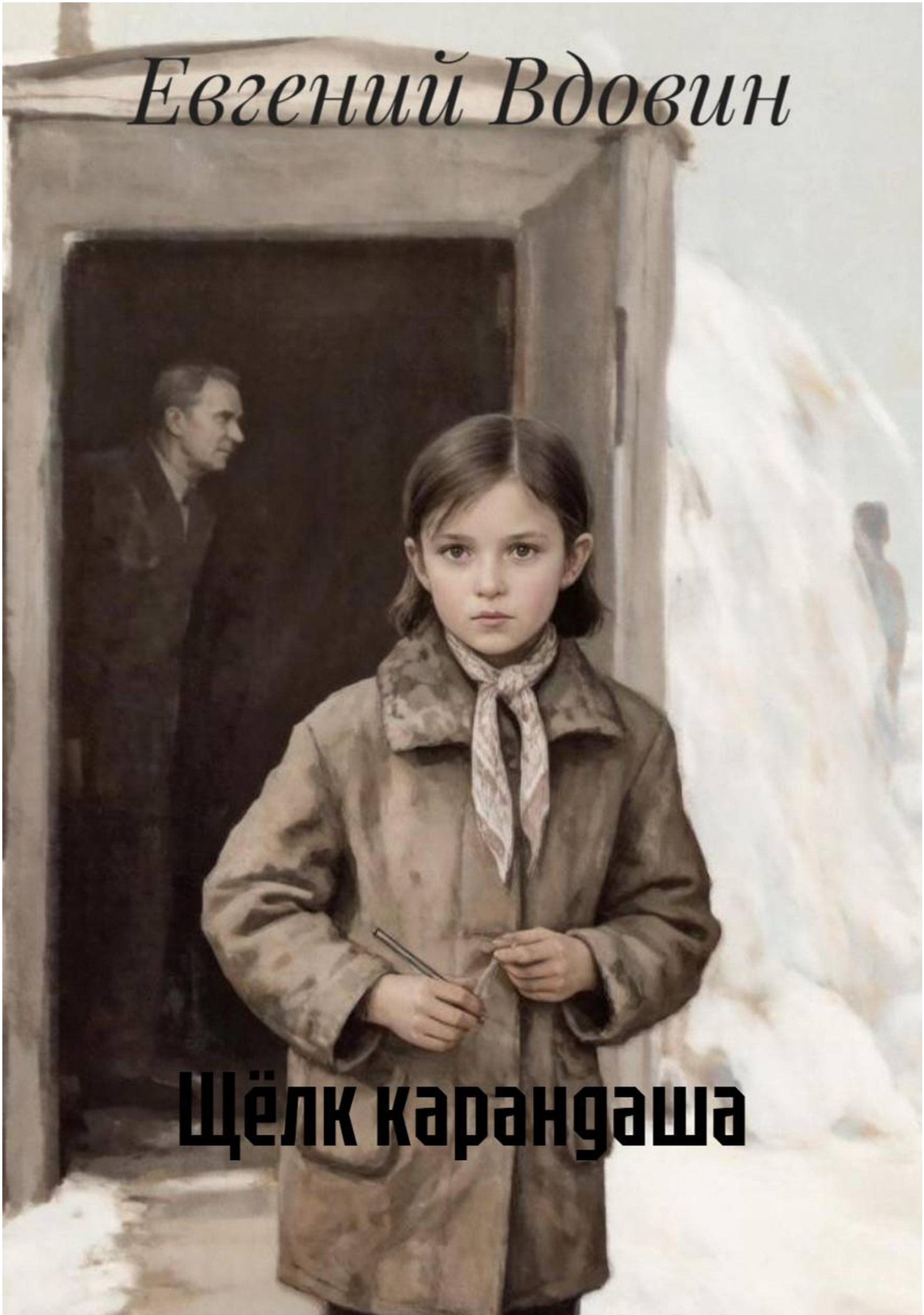

Евгений Вдовин
Щёлк карандаша

Евгений Вдовин

Щёлк карандаша

«Автор»
2026

Вдовин Е.

Щёлк карандаша / Е. Вдовин — «Автор», 2026

Щёлк карандаша — короткий, сухой звук, который маленькая Леонида слышала в комендатуре: чья-то судьба снова умещалась в строчку. В 1938 году её деда Павла, фельдфебеля царской армии, кавалера Георгиевских крестов, выслали из Тамбовщины на Южный Урал как «социально чуждого элемента» — за то лишь, что он помнил другую жизнь. Семья Буртас переживает землянки, ссылку, войну и потерю близких; дорога меряется не вёрстами, а людьми. Дед учит Леониду замечать свет даже в самый лютый мороз. Ей же предстоят вечерняя школа, тетрадь, спрятанная под половицей, свой дом, дети и шаг, который меняет всё. Роман о трёх поколениях семьи — о памяти, которая держит человека, когда держаться больше нечем.

© Вдовин Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОРОГА МЕРЯЕТСЯ ЛЮДЬМИ 5
Глава первая. Воспоминания 5
Глава вторая. Возвращение 11
Глава третья. Шрамы времени 15
Глава четвёртая. Пропавший без вести 24
Глава пятая. Чужая земля 26
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Евгений Вдовин
Щёлк карандаша

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОРОГА МЕРЯЕТСЯ ЛЮДЬМИ

Глава первая. Воспоминания

Восьмидесятилетняя Леонида сидела на кровати и листала ленту в телефоне — слушала рассказы на Дзене. Почти все истории были похожи: про мужей-гуляк, про коварных подруг, про женщин, чья жизнь будто специально складывалась из одних несчастий. Леонида морщилась от этих историй, но не закрывала вкладку. Они заполняли ту самую пустоту, которая иногда накатывала волной, хотя и не была по-настоящему одинока.

Муж, с которым она прожила большую часть жизни, был рядом — то у телевизора, то в телефоне, то возился по хозяйству. Взрослые сыновья часто заглядывали просто посидеть и поговорить. Внук Егор, известный художник и искусствовед, проводил с ней много времени; его выставки пользовались успехом, но для бабушки он оставался тем самым мальчиком, который когда-то путался под ногами на кухне. Часто звонили дети, внучки, родственники, подруги. Да и сама Леонида не сидела без дела: с ранней весны до глубокой осени хлопотала в огороде, что-то готовила, придумывала себе занятия — будто боялась дать тишине слишком много власти.

И всё же бывали минуты, когда одиночество подступало совсем близко, холодное и острое, как сквозняк из приоткрытой форточки. В такие мгновения даже родной дом казался чужим: будто стены чуть-чуть отодвигались, оставляя её одну в центре комнаты.

Отложив телефон, Леонида провела тыльной стороной ладони по лицу, словно стирая невидимую усталость, и посмотрела в окно. На улице шёл дождь — монотонный, серый, размывающий очертания домов до бесформенных пятен. Она проверила давление тонометром. Цифры оказались высокими. Измерила на другой руке — результат был таким же. Вздохнув, достала таблетку и запила водой из графина.

Проведя рукой по глазам, она на мгновение увидела лишь расплывчатые пятна, а потом картинка начала проясняться. И вдруг время будто сломалось. События начали накладываться друг на друга, как кадры старой плёнки, которую крутят слишком быстро. Перед внутренним взором вспыхнули образы: маленькая Леонида в длинной ночной рубашонке, в которой трудно было идти, не спотыкаясь; потом — в красивом жёлтом платьице.

«Сколько мне тут? Четыре? Пять?» — прошептала Леонида вслух, и голос прозвучал в тишине комнаты непривычно тонко, почти по-детски.

Дальше всё пошло не по порядку, а как бывает во сне: сразу и вместе. Она видела всё словно со стороны — как в необычном фильме, где актёры — она сама и её близкие, а сюжет — их настоящая жизнь, давно ушедшая в прошлое.

Маленькая Леонида сидела на завалинке, теребила пальчиками жёлтое платьице и смотрела в небо, где медленно плыли облака. Родители её работали на железной дороге, и большую часть времени девочка проводила под присмотром деда Павла. Леонида родилась уже здесь, в ссылке, в посёлке, который поселенцы называли Статейкой. Сюда, на Южный Урал, семью деда Павла сослали в 1938 году из Башмаковского района Тамбовской области — в годы «Большого террора».

А в чём же провинился Павел Васильевич? В том, что помнил другую жизнь. В 1928 году его лишили избирательных прав: он служил фельдфебелем в царской армии, был тюремным

надзирателем при старом режиме, имел Георгиевские кресты 3-й и 4-й степеней. В Первую мировую он попал в австрийский плен и вернулся только в 1921 году, когда Гражданская война уже догорала. При НЭПе даже открыл магазин и ездил за товаром в Москву. Но к 1938 году всё это стало не историей труда, а списком обвинений.

По приказу НКВД № 00447 против «бывших» — тех, кто пережил первую волну репрессий, — развернули новую операцию. Для местных органов спускали «контрольные цифры»: сколько человек нужно арестовать по первой категории (расстрел) и по второй (лагерь). И эти цифры нужно было выполнить.

Днём 22 апреля 1938 года у калитки залаяли собаки, и в дом без стука вошли вооружённые люди. Показали какую-то бумагу и начали обыск. Что искали — было непонятно. Павла Васильевича увели. В подвале сельсовета уже сидели другие крестьяне. Ермол Терпников тихо рассказывал, как спрятал шесть мешков зерна на кладбище, но комсомольцы нашли и сдали его. Максим Смирнов, бывший меньшевик, мрачно подытожил:

— Это новая „чистка“ общества от „социально чуждых элементов“. Вредители мы для них. Меня да Ермола, скорее всего, расстреляют, а вас всех — в лагеря, семьи — в ссылку. А может, кому и повезёт: отправят с семьёй на поселение. Хотя, знаете… расстрел тут, пожалуй, не самый худший расклад.

Павел Васильевич слушал эти слова и чувствовал, как внутри всё сжимается от странного, почти физического ощущения абсурда: он всю жизнь работал, растил детей, считал каждую копейку, а теперь его судьба решалась не по правде, а по плану, по «контрольной цифре», которую нужно закрыть.

В воздухе стоял особый, тяжёлый запах времени — запах сырости, мокрого дерева, дешёвого табака и страха, который не маскировали ничем, потому что его и не пытались прятать. Он был такой же частью быта, как скрип половиц или стук сапог по коридору.

Утром Павла Васильевича повели на допрос. В комнате за столом сидел человек в коверкотовой гимнастёрке: петлицы крапового цвета с малиновой окантовкой, три квадрата — младший лейтенант госбезопасности. Он выглядел лощёным, будто старался выглядеть важнее, чем был.

Павел Васильевич всегда замечал детали формы — когда-то он отвечал за обмундирование в армии и знал в этом толк. Сейчас эти детали говорили ему о другом: перед ним не просто военный, а человек, которому нужно выслужиться. И от этого становилось особенно горько: он, фельдфебель старой армии, понимал язык пуговиц и петлиц, но не понимал языка этой новой реальности, где вина определялась не поступком, а происхождением.

— Я следователь районного отдела НКВД, младший лейтенант госбезопасности Ерохин, — представился тот. Открыл папку на столе и продолжил: — Ну что, Павел Васильевич, будем сознаваться?

— Мне не в чём сознаваться, — спокойно ответил Павел Васильевич. — Вся моя жизнь на виду. Мы с семьёй работаем, живём мирно. Не балуем.

— Ну уж не скажите. Вот протоколы допросов двух свидетелей, ваших односельчан. У них мнение другое.

Павел Васильевич недоуменно посмотрел на лейтенанта. Он знал этих односельчан: один из них завидовал его магазину, другой боялся, что и его самого заберут, и потому торопился назвать кого-нибудь «врагом». И вот теперь их слова стали документом.

Дальше пошёл привычный, выверенный до слов допрос: о социально-имущественном положении до и после 1917 года, о службе в царской армии, о братьях, служивших у Колчака, о «вредительстве» и «антисоветской агитации». Павел Васильевич отвечал ровно, без лишних эмоций, будто отделял себя от происходящего, как человек, который знает: слова сейчас не имеют значения. Система работала не на выяснение истины, а на выполнение плана.

Когда ему показали протокол, он быстро пробежал глазами по строчкам и твёрдо подтвердил свои показания, отрицая приписываемые ему слова о колхозах и «рабстве крестьян». Он понимал, что спорить бесполезно, но не мог заставить себя солгать, даже чтобы спасти себя.

Вопросы сыпались один за другим, но Павел Васильевич отвечал спокойно, будто заранее знал, что его ответы ничего не изменят. В конце ему велели подписать протокол. Конвойный тут же взял его под руку.

Ночь он провёл в сыром подвале сельсовета, где пахло мокрой глиной и страхом. Там было тихо, но эта тишина была не мирной, а напряжённой, будто сама темнота прислушивалась к каждому вздоху.

Через день Ерохин вызвал его снова. На столе уже лежала готовая бумага — обвинительное заключение по статье пятьдесят восемь, пункту десять: «антисоветская агитация». Пятьдесят восьмая-десятая была удобной статьёй: под неё можно было подвести почти любое сказанное слово.

— Вот твои слова про колхозы и «рабство крестьян», — сказал Ерохин, постукивая пальцем по строчкам. — Свидетели подтвердили. Подписывай.

— Этими словами я не говорил. И подписывать не буду.

— Не подпишешь — подпишут за тебя. Так даже хуже.

Павел Васильевич взял перо и вывел под протоколом: «С обвинением не согласен». Он понимал: его судьба уже решена, и решалась она не в этой комнате и не им самим. Дела «бывших» по приказу № 00447 тройка при УНКВД разбирала заочно — по листам дела, без обвиняемого, штампом за штампом. Слово Павла Васильевича не могло ничего изменить, но и солгать он не мог: это было последним, что у него оставалось своего.

А потом случилось то, чего он не ждал. Видимо, кто-то сверху решил, что старик с семьёй полезнее живым на Урале, чем мёртвым в расстрельном списке: вместо лагерного срока приговор «смягчили» — спецпереселение всей семьи. Исполнение — незамедлительно.

Слова «спецпереселение» прозвучали почти буднично, но Павел Васильевич понял: это значит, что его семью выгоняют из дома, лишают всего, отправляют в чужую землю, где им придётся выживать с нуля. И самое страшное было не в наказании, а в том, как легко и равнодушно это делалось.

Тем же вечером Павла Васильевича, его жену Варвару, двух дочерей и сына в сопровождении милиционеров доставили на вокзал и передали сотрудникам НКВД. Их посадили в вагон эшелона, идущего на Урал. Вагон был тесным, пах углём и чужим горем. На полу лежали тряпки и старые мешки, на лавках сидели люди с узлами и детьми. Никто не говорил громко, будто сам воздух был пропитан страхом.

Выгрузили их на полустанке «Саламат», где стояло шесть бараков для таких же спецпереселенцев. Так началась их жизнь в статусе «врагов народа».

В Статейке, куда их привезли с полустанка «Саламат» — несколько вёрст по грязи, подводами, — поначалу жили не в бараках даже — в землянках. Одну такую, наскоро вырытую и прикрытую брёвнами, выделили семье Буртас. Пол был земляной, и в дождь по нему медленно ползла жидкая грязь, собираясь в тёмные лужи. Стены изнутри обкладывали мхом и старыми мешками, но это не спасало: сырость въедалась в одежду, в волосы, в кожу, становилась частью тебя.

Печку-буржуйку Павел Васильевич собрал сам из железной бочки: пробил дверцу и приладил трубу, которая выходила наружу через дыру в стене. Долго возился с ней, подгоняя, чтобы не было щелей. Он всё делал молча, сосредоточенно, будто если сделать всё правильно, то и жизнь тоже встанет на место.

— Главное, чтоб не дымило внутрь, — буркнул он, постучав по железу.

Печка гудела, как разъярённый зверь, и грела только в упор. Стоило отойти на два шага — и холод снова хватал за плечи. Зато возле самой печки было жарко, почти невыносимо.

Варвара умерла в первый же год ссылки. Утром она напевала песни и пекла блины, а днём ей стало плохо. Фельдшер сказал, что нужен хирург, нужна больница, но сопровождать её никто не разрешил, а самим выезжать было запрещено. Ночью она умерла. Лопнул аппендицит, а помочь было некому.

Эта смерть ударила по Павлу Васильевичу сильнее любого приговора. Он привык бороться, чинить, договариваться, но здесь не с кем было договариваться. Здесь правила были написаны не для людей, а против них.

Несмотря на все тяготы, семья выстояла. Старший сын Роман, к тому времени уже живший отдельно, выселения не тронуло — он приехал к отцу позже и устроился на работу поблизости. Дочь Ольга ушла на фронт добровольцем — выхлопотала у коменданта разрешение; воевала, была награждена, но в начале 1944 года её комиссовали. Младший сын Иван в шестнадцать лет сбежал на фронт и дошёл до Вены. Осенью 1944 года, уже после возвращения Ольги, у неё родилась дочь Леонида — умная, вдумчивая девочка с отличной памятью.

Зимой Леонида сидела у печи, поджав ноги, и смотрела, как пляшут тени на стенах. Ей казалось, что эти тени — другие люди, которые знают, как всё исправить, но не могут сказать ни слова.

Дед Павел учил её замечать детали.

— Видишь, как на железе ржавчина ложится? Не просто пятнами, а будто кто-то пальцем водил. Это значит, вода стекает по одному и тому же пути. Значит, тут надо подложить тряпку, иначе завтра будет лужа.

Леонида кивала, хотя не очень понимала, зачем это знать. Но ей нравилось, что дед говорит с ней как со взрослой, будто её внимание — это тоже работа, нужная и важная.

Каждое утро начиналось с комендатуры. Все взрослые должны были отмечаться: расписаться в журнале, чтобы комендант знал — ты здесь, не сбежал, не спрятался в лесу. Леонида ходила с дедом. Она стояла у порога, пока он разговаривал с человеком в шинели, который смотрел в бумаги и щёлкал карандашом, ставя галочки.

Этот звук — щёлк карандаша — стал для неё самым точным знаком эпохи: короткий, сухой, равнодушный. Он означал, что чья-то судьба снова уместилась в строчку, в галочку, в цифру.

Однажды комендант поднял глаза на Леониду.

— А ты чего тут?

— Я с дедом, — тихо ответила она.

— Ну, иди, не стой на проходе. Тут тебе не цирк.

Леонида выскользнула на улицу, где пахло мокрым деревом и дымом. Ей было обидно, но она знала, что плакать нельзя: дед говорил, что слёзы тут быстро замерзают, и от этого становится только больнее.

В посёлке был строгий порядок: нельзя было уходить далеко, нельзя было собираться толпой, нельзя было громко смеяться. Смех казался чем-то подозрительным, будто за ним прячется бунт. Но люди всё равно находили способы держаться друг за друга. По вечерам тихо пели старые песни. Негромко, чтобы не услышали, но достаточно, чтобы услышать себя.

Леонида любила слушать, как дед Павел рассказывает истории. Не про войну и не про аресты, а про то, как раньше строили дома, как выбирали дерево, как слушали, как оно поёт, если постучать.

— Дерево живое, Леонида. Оно помнит, где росло, какой ветер его гнул. И дом, который из него строят, тоже это помнит. Вот и мы… мы тоже будем помнить. Даже если нам скажут, что ничего не было.

Иногда к ним заходили другие ссыльные. Приносили то кусок хлеба, то старую тряпку, то просто слово поддержки.

Однажды утром Леонида проснулась от тишины. Не обычной, а какой-то особенной, звенящей. Она вышла на улицу и увидела, что всё вокруг покрыто инеем, а солнце наконец-то пробилось сквозь тучи. Лучи падали на крыши домов, на сугробы, на её варежки, и всё это вдруг стало не серым, а золотым.

Леонида остановилась, зажмурилась, а потом снова открыла глаза, чтобы убедиться, что это не сон. И в этот момент она поняла: даже здесь, в холодном месте, бывает свет. И если его замечать, он становится больше, чем холод.

Почти десять лет семья прожила в Статейке, прежде чем в 1948 году им дали разрешение переехать на железнодорожный разъезд «Тумак». Там выделили старенький, полуразваленный домик; Павел Васильевич с сыновьями по мере возможности восстанавливали его.

Работать в семье приходилось всем. Маленькая Леонида носила воду из колодца, который был в центре посёлка. Ведро было тяжёлое, и она шла медленно, стараясь не расплескать ни капли. Вода в нём была ледяная, и пальцы стыли даже в варежках.

Однажды, возвращаясь с водой, Леонида увидела, как у колодца стоит женщина и смотрит на небо. Лицо у неё было серое, будто его стёрли дождём.

— Тётя Клава, вы чего?

Женщина вздрогнула, будто забыла, что она не одна.

— Да вот… думаю, сколько дней уже не видела солнца. А ведь раньше я его замечала. Каждый день. А теперь… будто оно меня не видит.

Леонида тогда не знала, что сказать. Она просто протянула тёте Клаве воды из своего ведра. Та покачала головой, но всё-таки выпила.

— Спасибо, девочка. Ты добрая. А доброта тут… как спичка в сырых дровах. Вроде и есть, а не горит.

Леонида не поняла смысла этих слов, но запомнила.

Деду Павлу тогда было чуть больше шестидесяти. Он работал в магазине, и Леониде иногда перепадали сладости. Именно он научил её читать, а потом и писать. Когда к деду приходили гости, маленькая Леонида старалась держаться поблизости, слушала их разговоры и запоминала каждую деталь. Жизнь этих людей была полна событий, и девочка впитывала их, как губка.

Сидя на завалинке, Леонида напевала романс «Белой акации гроздья душистые» — дедушка часто ставил пластинку на патефоне с этой песней. Тут к дому подъехала телега, и с неё слезли худенькая женщина и пожилой мужчина — у него не было руки по плечо. На телеге осталась сидеть ещё одна пожилая женщина; она, кряхтя, спустила ноги, но слезать не стала.

— Здравствуйте, здесь ли Павел Васильевич?

— Деда нет, он в магазине, товар принимает, — ответила Леонида.

— А ты чья красавица будешь? — спросил мужчина.

— Внучка деда Павла.

— Ты Ольгина дочка, большая уже, — сказала женщина.

— А магазин-то где?

— Идёмте, покажу. Всё равно туда собиралась, — сказала Леонида и вприпрыжку повела гостей к магазину.

Вечером за столом сидели гости, родители, дед — и судачили обо всём на свете. Безрукого гостя звали Герасим: он потерял руку, когда служил в чапаевской дивизии и воевал с белочехами. Вспоминали и деда Павла, который на семь лет пропал и потом «чудесным» образом вернулся. Историй было много, и каждая из них жила в памяти маленькой Леониды, чтобы однажды стать частью её собственной правды о мире.

Но сейчас, в своей тёплой комнате, под шум дождя за окном, Леонида вдруг почувствовала, как эти воспоминания, такие тяжёлые и такие родные, будто стали легче. Они не исчезли, не стали меньше, но как будто улеглись в груди ровно, как дрова в печке, которые наконец-то

занялись и теперь греют, а не коптят. Она закрыла глаза и снова услышала голос деда: «Мы будем помнить». И ей стало спокойнее.

Глава вторая. Возвращение

Историю о том, как дед Павел вернулся домой, Леониде рассказывали не раз, и каждый раз она была чуть другой — как сказка, у которой нет единой версии. Но во всех вариантах она начиналась одинаково: с рассвета.

Встав ещё до рассвета, когда небо было тёмно-синим, будто выцветшим от долгой ночи, Василий Романович вышел во двор. Воздух стоял густой и холодный, пах прелой соломой и дымом из труб. Потрепав выскочившую навстречу собаку — старого пса Борьку, который уже еле волочил лапы, но всё равно считал своим долгом встречать хозяина, — Василий направился в денник за лошадью.

Внутри денника пахло сеном, лошадиным потом и смолой, которой натирали упряжь. На стене висели связки сухих трав — зверобой, полынь и мята: их развешивали, чтобы отгонять мух и всякую нечисть. На крюке покачивалась старая холщовая торба с солью — лошади любили лизать её в жару. Василий провёл ладонью по тёплой стене, словно проверяя, всё ли в порядке в его маленьком мирке.

Он вывел Зорьку — кобылу с широкой грудью и спокойным, чуть задумчивым взглядом. Василий Романович подвёл её к телеге, надел узду, привычно поправил ремни, будто проверял не упряжь, а собственное спокойствие. Левой рукой взялся за упряжь, правой положил на спину лошади седёлку, расположив её около холки. Расправил шерсть, разложил седёлку ровно, без складок: он терпеть не мог небрежности в деле. Подтянул подпругу, проверил, чтобы не давила, но и не болталась. Через голову лошади надел хомут, перевернул, придав правильное положение, расправил гриву, набросил шлею и завёл Зорьку в оглобли. К оглобле прикрепил чересседельник за петли, расположенные на седёлке. Затем дугу подвёл под оглоблю, обгибая против хода часов, конец вдел в петлю. Снова обогнул оглоблю и уложил дугу на хомут. Взяв в руки супонь, стянул хомут за оба края и пристегнул вожжи к уздечке. Дав лошади морковку — маленькое утреннее утешение, — Василий Романович направился кормить животину.

Из кормушки сыпались зёрна овса, и Зорька шумно втягивала их, перетирая крепкими зубами. Рядом в яслях лежала вялая ботва свёклы — её давали, чтобы лошадь не хворала. Пока кобыла ела, Василий проверил, не рассохлась ли деревянная колода у входа, не треснула ли доска: в хозяйстве любая мелочь могла обернуться бедой.

Закончив с хозяйством, он зашёл в дом. Внутри стояла привычная, но сегодня какая-то особенно напряжённая суматоха. Анна Григорьевна, супруга Василия Романовича, накрывала на стол и собирала корзину с едой в дорогу. На столе уже стояла крынка молока, тюря из хлеба и воды, печёный картофель, лук и вчерашние остатки. Варвара, сноха Василия Романовича, суетилась и торопила только что проснувшегося десятилетнего сына Романа, чтобы тот побыстрее собирался.

На лавке у печи лежала стопка потёртых полотенец, а рядом — деревянная щётка для одежды: Варвара собиралась отряхнуть Романа от ночной пыли и прилипших соломинок. На подоконнике в глиняной плошке мокли льняные семечки — их добавляли в похлёбку, когда муки не хватало. У порога висели пучки сухих трав: зверобой и чабрец для чая, полынь — от блох.

— Да не дёргай ты его, пусть хоть ложку каши спокойно съест, — тихо, но твёрдо сказал Василий Романович, снимая шапку и вешая её на гвоздь. Гвоздь был старый, с потемневшей шляпкой, и на нём уже не хватало места: рядом висели суконная куртка, отцовский картуз и детская фуфайка Романа.

Варвара только вздохнула, сдерживая слёзы, и отвернулась к печи. В последнее время она всё чаще вздрагивала от резких звуков и подолгу смотрела в окно, будто ждала чего-то. Или кого-то.

Василий Романович сел за стол, и все домочадцы, бросив все дела, сели завтракать. Он трижды брызнул родниковой водой на стол с пищей, тихо произнося: «Как эта вода чиста, так будет чиста сия пища!» — и взял ложку. Зачерпнул тюрю, но ел не спеша, словно растягивал этот привычный, почти священный момент: семья вместе, все живы, дом стоит.

После трапезы все встали перед Красным углом. Василий Романович прочитал молитву: «Благодарим Тебя, Христе Боже наш, что Ты насытил нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небесного Твоего Царства, но, как Ты пришёл посреди учеников Своих, Спаситель, мир даруя им, приди и к нам, и спаси души наши». В тишине, которая повисла после слов, было слышно, как потрескивает лучина и как тяжело, с коротким вздохом, дышит старый Борька у порога.

Через полчаса вся семья Буртас ехала по просёлочной дороге в поле, косить сено. Колёса телеги скрипели, Зорька шла ровно. Июль выдался дождливый, и приходилось много ворошить сено, чтобы оно не спрело. Каждый погожий день был на вес золота.

Добравшись до поля, все приступили к работе.

— Чем росистее трава, тем легче косить, — сказал Василий Романович и взмахнул косой.

У него была коса с длинным черенком — литовка. Двинувшись вперёд, Василий Романович стал монотонно, уверенно скашивать высокую траву, прокладывая в ней дорогу. У десятилетнего Романа в руках была коса-горбуша с кривым черенком. Ей было сложно косить: лезвие цеплялось за кочки, черенок бил по коленям, и мальчик то и дело поправлял его. Он старался не отставать от деда, стискивал зубы, чтобы не жаловаться, и каждый взмах давался ему как маленькое испытание.

Скошенную траву Анна Григорьевна растрёпывала граблями, чтобы солнце и ветер могли лучше её просушить. Постепенно скошенная трава превращалась в сено. На поле уже стояли три больших стога с шестом посередине. Небольшие копны, собранные накануне, разгребала Варвара. Она работала молча, быстро, будто хотела измотать себя до такой степени, чтобы не оставалось сил думать.

К двенадцати часам сели обедать. Достали сало, лук; Роман ел хлеб с солью, запивая молоком. Василий Романович пил квас, а Анна Григорьевна что-то нарезала. Её взгляд вдруг упал на идущего по дороге путника.

— Какой-то старик идёт… К нам в село. Хотя нет, нас увидел — к нам идёт. Ходят, бродят тут всякие, — проворчала она, но в голосе не было настоящей злости, только привычная настороженность.

Вдруг Варвара, сидевшая у колеса телеги, соскочила и побежала навстречу приближающемуся путнику. Все замерли, не понимая, что происходит. Путник остановился, бросил узелок и тоже побежал навстречу Варваре.

Варвара бежала, а слёзы лились из её глаз не переставая, будто прорвало плотину. Комок в горле не давал произнести ни слова. Подбежав, она кинулась на шею путнику и начала целовать его, будто хотела убедиться, что он настоящий.

Василий Романович и Анна Григорьевна быстрым шагом двинулись к ним. Варвара повернулась к свёкру со свекровью и выдохнула, словно эти слова были единственным, что удерживало её на ногах:

— Павел. Наш Павел вернулся.

Василий Романович с Анной Григорьевной не могли поверить: перед ними стоял их сын Павел. Семь лет не видели они сына, уж и не чаяли увидеть живым. А тут он — живой, хоть и похудевший, с глубокими морщинами у глаз, в поношенной одежде, но тот самый их Павел, которого они помнили ещё мальчишкой, бегавшим по двору босиком.

Павел сделал несколько шагов к отцу с матерью, упал на колени и заплакал. Слёзы катились по его щекам, и он не пытался их вытереть. Василий Романович подошёл, положил руку ему на плечо, потом обнял крепко, до хруста, будто боялся, что сын снова исчезнет. Анна Гри-

горьевна прижалась к ним обоим, шептала что-то бессвязное, целовала сына в волосы, в лицо, в руки — везде, куда могла дотянуться.

Заметив подошедшего Романа, Павел на мгновение оторопел: последним он видел сына трёхлетним.

— А это что за малец? Неужто это Роман? — спросил он, и голос его дрогнул. Схватив мальчика, Павел крепко обнял его, прижал к себе, будто хотел запомнить это тепло.

Роман вздрогнул: для него заросший, чужой человек был кем-то страшным и незнакомым.

— Это твой батя, Ромашка, — тихо сказала Варвара. — Твой отец вернулся.

Мальчик не двигался, потом осторожно положил руки на отцовские плечи — и почувствовал, что они дрожат. Он не понимал, почему, но чувствовал: сейчас можно не быть сильным, можно просто стоять и дышать.

День раскололся на «до» и «после». Работа на поле остановилась. Даже трава, казалось, перестала шелестеть, будто прислушивалась к этому чуду.

Когда они вернулись домой, село уже знало: Павел вернулся. Молва облетела округу быстрее ветра. У ворот собирались соседи, стояли поодаль, снимали шапки, крестились; кто-то тихо плакал. Для них возвращение Павла было не просто семейной радостью — это была маленькая победа над бедой, над временем, над тем, что так часто забирало людей и не возвращало.

Вечером в доме Буртас было праздничное застолье. Анна Григорьевна испекла рыбный пирог, и Василий Романович разрезал корку, а часть с головой рыбы положил сыну — по старому обычаю, самую почётную долю. Павел Васильевич покрошил в большую глиняную чашку с квасом огурцы, отхлебнул немного и посмотрел на сидящих за столом. Собралось много народу: соседи, родственники, люди, которые помнили Павла ещё мальчишкой. Все хотели увидеть его, просто дотронуться до него, будто прикосновение могло подтвердить, что это не сон.

На столе стояли глиняные миски и деревянные ложки, а в углу на широкой лавке громоздились стопки чистых рушников — их доставали только по большим праздникам. В красном углу теплилась лампадка, бросая на иконы мягкий свет, и от этого казалось, что в комнате стало теплее, даже если на улице дул колючий ветер.

— Расскажи, где был, что видел, — попросил кто-то из соседей, и в голосе его слышалась не праздная любознательность, а тихая надежда: если Павел смог вернуться, значит, и другие могут.

Павел помолчал, подбирая слова. Он не хотел пугать родных, не хотел ворошить то, что до сих пор отзывалось болью в груди.

— Далеко был. Много чего видел. Но главное — я здесь. Я с вами.

И этого оказалось достаточно.

Позже, когда гости разошлись, а дом затих, Павел остался сидеть у окна. Луна светила прямо в стекло, и её свет казался слишком ярким, почти нереальным. Василий Романович подошёл и сел рядом.

— Ты не обязан рассказывать всё сразу. Время есть.

— Спасибо, отец, — тихо ответил Павел. — Просто… я столько лет думал, что не увижу вас. Что всё, что было, — будто и не со мной. А теперь сижу здесь, слышу, как скрипит половица, чувствую запах пирогов, вижу, как Роман спит, свернувшись калачиком… и понимаю: это и есть жизнь. Настоящая.

Василий Романович кивнул. Он понимал.

В ту ночь никто долго не мог уснуть. Каждый прислушивался к тишине, к дыханию близких, к тому, как дом снова стал полным. И в этой тишине было больше слов, чем в любых рассказах. Дождь за окном не утихал: стучал по крыше, стекал по стёклам, размывал очертания

мира. Но в доме было тепло. Павел всё никак не мог привыкнуть к этому теплу — оно казалось ему почти неправдоподобным. Он сидел у печи, смотрел, как пляшут тени на стенах, и вспоминал другие ночи: сырые, холодные, где тени были не друзьями, а свидетелями чужого страха.

Там, в чужом краю, он вынес одну мысль и пронёс её через всё: мы будем помнить. Помнить — это не только хранить боль. Это ещё и держать в себе свет, который не дали погасить.

Он встал, подошёл к окну, отодвинул занавеску. Дождь всё ещё шёл, но где-то за тучами уже пряталось утро. Ещё не видно, но уже чувствуется: скоро станет светлее.

Глава третья. Шрамы времени

Через пару дней, сидя за столом, Павел Васильевич начал свой рассказ — о том, где он был и где пропадал долгих семь лет. Голос его звучал ровно: каждое слово он заранее отмерил, чтобы не расплескать ни капли чувства, но в этой сдержанности чувствовалось напряжение туго скрученной пружины. Он говорил, не глядя на слушателей, — обращался не к ним, а к той тени себя, что осталась там, в окопах, в грязи, в тишине, которая тяжелее любого грохота.

История, что рассказал Павел Васильевич, была и трагична, и до обидного обыденна для того смутного времени — таких историй по всей стране складывались тысячи, и каждая из них тянула за собой чью-то оборванную судьбу. Но обыденность эта не делала боль меньше. Наоборот: она придавала ей какой-то особенно жестокий оттенок — будто сама эпоха нарочно стирала грань между подвигом и рутиной, между жизнью и смертью, превращая человеческое горе в статистику.

Призвали Павла Васильевича в 1907 году, когда ему исполнился двадцать один год, — в пехоту, в 146-й Царицынский полк 37-й пехотной дивизии, расквартированный в городке Ямбурге, в ста двадцати километрах от Петербурга. В Ямбурге при полку действовала бесплатная школа, открытая полковником Занкевичем; именно там Павел Васильевич и получил образование, которое в прежней жизни, в родном селе, ему бы и не снилось. Отслужив положенные три года, он уволился в запас и вернулся домой, а вскоре устроился тюремным надзирателем в уезде.

Он схватывал всё на лету: цифры, уставы, топографию, даже основы фортификации. Командиры это видели. Однажды полковник Занкевич, склонившись над картой, вдруг бросил, не глядя на Павла:

— У тебя голова работает, Буртас. Подумай о военном училище. Карьеру сделаешь.

Павел Васильевич тогда только молча кивнул. Слова о «карьере» звучали как что-то из другой жизни — той, где есть будущее, планы, спокойная старость. А у него дома ждала Варвара, да и сама мысль о том, чтобы стать «господином офицером», казалась ему чужой, неловкой, как мундир, который шили не на него. И в этом ощущении было не столько пренебрежение к офицерскому званию, сколько страх перед тем, что, надев чужой мундир, он перестанет быть собой.

Часто в полк приезжали известные исполнители: Владимир Сабинин, Михаил Вавич, Анастасия Вяльцева — «царица русского романса». Но неизгладимое впечатление на Павла Васильевича произвела Мария Александровна Эмская. В её исполнении «Белой акации грозды душистые» звучало не как романс, а как прощание с миром, который вот-вот исчезнет. Он слушал и чувствовал, как внутри что-то сжимается — не от красоты, а от предчувствия беды. В тот момент ему казалось, что эта мелодия — не про любовь и цветы, а про то, как легко всё рушится, как быстро наступает тишина, в которой уже не слышно ни смеха, ни шагов, ни дыхания близких.

А вечерами всё возвращалось на круги своя: кабаки, патефон, карты, вино, анекдоты. Сослуживцы мечтали о будущем — кто о доме, кто о наградах, кто просто о том дне, когда можно будет снять сапоги и больше никогда их не надевать. В 1910 году, отслужив действительную службу, Павел вернулся к Варваре. А через четыре года война догнала его и там: в конце июля 1914-го полк получил телеграмму о мобилизации, в ночь на 12 августа Царицынский ушёл из Ямбурга на фронт, и запасного Павла Васильевича мобилизация вернула в старую часть.

Полк под командованием полковника Занкевича Михаила Ипполитовича отправили на австрийский фронт, на передовую. Уже с 29 августа 1914 года Павлу Васильевичу довелось участвовать в боях в Галиции. И очень быстро война перестала быть чем-то далёким и книж-

ным. Она стала запахом сырой земли, криками раненых, скрипом лопат, которыми рыли братские могилы. Она стала тем, что въедалось в кожу, в волосы, в память, оставляя на человеке невидимые, но глубокие шрамы.

Поздней осенью 1914 года, когда окопы уже заливало водой, а земля стала вязкой и тяжёлой, как свинец, Павла Васильевича назначили старшим в ночной группе разведчиков. Задача была привычной: выяснить, не подтягивают ли австрийцы резервы, не ставят ли новые пулемётные точки.

Они ползли по ничейной земле, стараясь не задевать ржавую, местами порванную колючую проволоку. В темноте каждый шорох казался выстрелом, каждый вздох — предательством. Павел Васильевич замер, когда впереди мелькнула тень. Он подал знак: «Стой». И тут из темноты донёсся шёпот на русском:

— Не стреляйте… свои…

Из-за кочки поднялся солдат в изодранной шинели, без погон, с лицом, чёрным от копоти и грязи. Это был один из тех, кто пропал без вести ещё в начале сентября. Его считали мёртвым, сложили в донесении: «Погиб при атаке». А он три недели пробирался по лесам, прятался в брошенных хуторах, питался сырой картошкой и корнями, избегал патрулей и наконец вышел к своим.

Павел Васильевич помог ему подняться. Солдат смотрел на него пустыми, выцветшими глазами и повторял одно и то же:

— Там, в овраге, лежат ещё трое… живые… но не могут идти.

И Павел Васильевич, вопреки приказу возвращаться сразу после сбора сведений, повёл группу не назад, а в тот самый овраг. Они вытащили троих: двоих едва живых, третьего — почти без сознания. Обратно шли ползком, таща раненых на себе. Земля под ними хлюпала, налипала комьями на шинели, тянула вниз. Когда добрались до своих, рассвет уже заливал небо серым светом, и от их одежды тянулся густой запах крови, грязи и чужого страха. За тот ночной вывоз раненых Павел Васильевич получил Георгиевский крест 4-й степени — первую свою награду.

Этот случай крепко врезался Павлу Васильевичу в память не из-за подвига, а из-за того, как легко человек становится «пропавшим без вести», как быстро его вычёркивают из списков, как будто он никогда и не существовал. И как тяжело потом снова поверить, что кто-то может быть жив. В этом было что-то невыносимо жестокое: бюрократия смерти, которая ставила точку раньше, чем успевало остановиться сердце.

К Рождеству 1914 года из трёх тысяч человек, дислоцировавшихся в Ямбурге в довоенное время, в живых осталось лишь несколько сотен. Ежедневно приходилось рыть большие ямы и складывать в четыре ряда гробы, засыпая всё известкой. Из-за нехватки обмундирования форму снимали с погибших, складывали в мешки и отправляли в тыл: там её стирали, штопали, прошивали и снова отправляли на пункты формирования частей. Полк уже дважды практически полностью обновился в своём составе.

Сослуживцы гибли, получали увечья, пропадали без вести или попадали в плен. Павла Васильевича будто хранил кто-то: ни одной серьёзной царапины, лишь лёгкая контузия, после которой в ушах долго стоял тонкий, надоедливый звон, как будто где-то рядом беспрерывно звенел маленький колокольчик. Но он не считал это везением. Скорее, это было какое-то горькое, почти обидное исключение, словно судьба нарочно оставляла его в живых, чтобы он видел всё до конца.

Весной 1915 года полк получил приказ взять высоту, которую австрийцы укрепили так, что казалось, будто сама земля встала на их сторону: проволочные заграждения в несколько рядов, скрытые пулемётные гнёзда, фугасы. Атака была назначена на рассвет.

Павел Васильевич шёл в первой цепи, рядом с ним — молодой новобранец, который всю ночь шептал молитвы, крестился и снова шептал. Павел хотел сказать ему что-то ободряющее,

но не нашёл слов. Да и не было тут ничего ободряющего. В такие минуты любые слова казались пустыми, фальшивыми, как попытка прикрыть голую правду цветными тряпками.

Когда поднялись в атаку, земля взорвалась под ногами. Взрывы сливались в один сплошной грохот, пыль поднималась стеной, и в этой стене исчезали люди. Павел Васильевич видел, как рядом упал тот самый новобранец — не от пули, а от осколка, который ударил его в плечо и отбросил назад, словно куклу. Осколок разворотил ткань шинели и плоть под ней; из раны толчками выплёскивалась кровь, смешиваясь с грязью, и земля под парнем быстро темнела, впитывая её, будто жадно глотая жизнь. Павел Васильевич рванулся к нему, но чья-то рука схватила его за шинель и потянула вперёд:

— Вперёд! Не останавливаться!

Высота была взята ценой десятков жизней. Когда стрельба начала стихать, наступила странная, почти неестественная тишина. Не мирная, а выжженная, пустая. Павел Васильевич огляделся и понял, что почти никого из тех, с кем он выходил из окопов, уже нет.

Он опустился на землю, прислонился спиной к камню и закрыл глаза. В ушах стоял не привычный звон, а эта самая тишина — тяжёлая, давящая, будто мир затаил дыхание и ждал, когда кто-то сделает первый шаг. В этот момент он вдруг остро почувствовал, что война не только убивает тела, но и выжигает изнутри способность верить в то, что впереди есть что-то кроме боли и потерь.

Через несколько минут прибежал связной с новым приказом: удерживать позицию любой ценой. Павел Васильевич поднялся, стёр с лица грязь, смешанную с чужой кровью, и пошёл раздавать распоряжения. Он делал это автоматически: тело знало, что делать, даже если душа уже сдалась. Это пугало его больше, чем любой обстрел, — ощущение, что он превращается в механизм, в инструмент, который действует по инерции, не чувствуя ни страха, ни горя, ни надежды.

А вечером, когда стемнело, он нашёл того новобранца. Тот был ещё жив, но дышал тяжело, с хрипом, и каждый вдох давался ему как удар. Павел Васильевич сел рядом, взял его за руку и просто сидел, пока тот не перестал дышать. Потом он закрыл ему глаза, снял с себя шинель и укрыл парня — словно это могло хоть что-то исправить. Но исправить ничего было нельзя. И именно в этом была самая страшная правда войны: она не оставляла места для искупления, для «если бы», для «я мог бы сделать иначе».

Эта тишина после атаки осталась с Павлом Васильевичем навсегда. Она приходила к нему в снах, в моменты затишья, даже когда вокруг снова начинался грохот. И каждый раз он понимал: самое страшное — это не сам бой, а то, что наступает после, когда ты остаёшься один на один с тем, что натворила война. И с тем, как эта война постепенно меняет тебя, стирая прежние черты, прежние ценности, прежние представления о добре и зле.

Его назначили инструктором для прибывшего пополнения. Большинство новобранцев были либо необстрелянной молодёжью, либо сорокалетними мужиками, которым эта строевая и тактическая подготовка казалась бессмысленной мукой. Павел Васильевич не тратил слов на утешения. Он говорил прямо, грубо, так, чтобы доходило до самого нутра.

— Вы попали в самое жёсткое место на земле, — чеканил он, глядя новобранцам в глаза, будто пытался впечатать свои слова в их память. — Это ад. Вы будете ползать в грязи, спать в грязи и, скорее всего, умрёте в грязи. Но если ваше оружие будет грязное — я убью вас раньше. И ваше тело отдам на съедение крысам. Большинство из вас погибнет в первой же атаке. А кто не хочет, чтобы его останки собирали и хоронили в котелке, что висит у вас на подсумках, слушайте меня и делайте то, что я скажу. Тогда у вас, отребья, появится шанс прожить немного дольше.

Слова были жестокими, но в них была правда. И новобранцы, пусть и морщась, слушали. Потому что в этой правде было спасение. Павел Васильевич знал: если он начнёт говорить о чести, о долге, о славе, они просто не поверят. А вот если он скажет им, что здесь выживают

только те, кто делает всё правильно и вовремя, — они прислушаются. Потому что инстинкт самосохранения сильнее любых высоких слов.

Помимо обучения, на плечах Павла Васильевича лежали и другие обязанности: следить за порядком, отправлять заболевших и раненых в лазарет, проводить вечернюю поверку, проверять наличие и сохранность амуниции и вооружения — хотя формально это входило в обязанности каптенармуса. Дел было столько, что порой казалось: остановись он хоть на минуту — и мир рухнет.

Но по ночам, сидя в сыром блиндаже, Павел Васильевич часто не мог заснуть. Перед глазами вставали картины мирной жизни: отчий дом, запах свежего хлеба, Варвара, идущая по двору с коромыслом. Она всегда виделась ему именно такой — спокойной, сильной, будто сама земля держала её на своих ладонях. Эти воспоминания обрывались на полуслове грохотом снарядов. Вот уже полгода он на войне, а так и не привык к взрывам. Каждый из них вбивал в него новый гвоздь, пригвождая к этой земле, к этой войне, к этому бесконечному дню. И он всё чаще ловил себя на мысли, что если когда-нибудь вернётся домой, то уже не будет тем человеком, который уходил.

Быт в окопах был отдельной, тихой, но беспощадной мукой — не такой громкой, как атака, но куда более изматывающей. Окопы стояли в низине, и вода из земли поднималась сама, словно хотела вытолкать солдат наружу, на пули. По утрам вода доходила до щиколоток, а к полудню, если не шёл дождь, оседала в виде липкой, чёрной жижи, которая облепляла сапоги, набивалась в швы, просачивалась сквозь ткань портянок.

Однажды Павел Васильевич заметил, как рядовой Семёнов, парень из Тамбовской губернии, сидит на краю бруствера и пытается отодрать присохшую к ноге портянку. Лицо у него было серое, глаза запавшие, а пальцы дрожали так, что он никак не мог ухватить край ткани.

— Да ты не дёргай, — буркнул Павел Васильевич, присаживаясь рядом. — Мочи её, мочи, пока не отстанет.

Семёнов кивнул, плеснул на ногу воды из фляги, и тогда стало видно: кожа на ступне побелела и вздулась, как варёное тесто, а местами уже пошла тёмными пятнами — там, где начинался некроз.

— Траншейная стопа, — тихо, почти без интонации, произнёс Павел Васильевич. Он видел это уже не в первый раз и знал: если не снять человека с линии, нога начнёт гнить, и тогда уже не помогут ни спирт, ни йод, ни молитвы.

— Больно, ваше благородие, — прошептал Семёнов. — Будто иголками колют, а потом вообще ничего не чувствуешь. А потом опять больно.

Павел Васильевич только кивнул. Он не умел говорить ласковых слов, да и не было здесь места для них. Вместо этого он помог парню снять сапог, осторожно размотал портянку и увидел, что кожа на пальцах уже лопается, обнажая розовую, воспалённую ткань.

— Сегодня же отправлю в тыловой лазарет, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, а не виновато. — Там знают, что делать.

Но Семёнов только покачал головой:

— Не надо. Там ампутируют. Я лучше тут… тут хоть живой.

Это была горькая правда: в лазаретах «лечили» просто и быстро. Если нога начинала гнить — её резали. И солдаты боялись лазаретов порой больше, чем пулемётов.

Болезни шли по окопам, как вода по низине. Сначала вши — они заводились в швах, в складках шинелей, в волосах, и избавиться от них было почти невозможно. Потом начинался «траншейный рот»: дёсны распухали, зубы шатались, и даже глоток воды становился пыткой. Дизентерия косила людей целыми отделениями: кто-то умирал от обезвоживания за двое суток, кто-то просто слабел настолько, что уже не мог держать винтовку.

Как-то ночью Павел Васильевич услышал тихий, монотонный стон из дальнего отсека окопа. Он пошёл на звук и увидел троих солдат, сбившихся в кучу, дрожащих, хотя ночь была не холодной. У одного из них лицо горело жаром, кожа была сухой и натянутой, как пергамент.

— Тиф, — определил Павел Васильевич по одному взгляду. Он знал этот блеск в глазах, эту сухую лихорадку, этот запах болезни, который не спутать ни с чем.

Он тут же приказал отвести больных в санитарный пункт, но санитарная повозка не приходила уже третий день. Тогда он сам, вместе с двумя добровольцами, понёс носилки по размытой дороге, по колено в грязи, под редким, но ледяным дождём. Один из больных умер по дороге — тихо, без крика, просто перестал дышать, и его тело стало вдруг невыносимо тяжёлым, будто вместе с жизнью из него ушла какая-то невидимая опора.

Вернувшись в окопы, Павел Васильевич долго тёр руки песком, пытаясь стереть с них запах болезни, но тот въедался в поры, оставался под ногтями, висел в воздухе блиндажа.

Иногда ему казалось, что страшнее пуль — вот эта медленная, серая смерть, которая приходила не с грохотом, а с тихим стоном, с дрожащими пальцами, с побелевшей кожей на ступнях. Она забирала людей не сразу, а по частям: сначала чувствительность в ногах, потом силы, потом волю, а потом и жизнь.

Зимой 1915 года Павел Васильевич по собственному желанию вступил в штурмовой гренадерский отряд. Это была работа для тех, кто уже не боялся смерти, а просто устал от ожидания. Позиции 146-го Царицынского полка были оборудованы плохо: окопы наполовину разрушены, проволочные заграждения — всего в одну полосу, в три ряда кольев. Австрийцы стояли в четырёхстах метрах — близко, слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Однажды, получив приказ, фельдфебель Буртас повесил на себя две сумки с гранатами, подсумок с патронами, засунул за пояс тесак, проверил трофейный австрийский пистолет «Штайр», надел фуражку и вместе с отрядом отправился на участок, где предполагался прорыв.

На выбранном месте установили макет станкового пулемёта. Павел с группой разведчиков затаился в засаде, а остальной отряд ждал в траншее. С заходом солнца показались тени австрийских штурмовиков. Быстрым рывком они оказались в траншее у макета. И тут же участок накрыли гранатами. Затем в траншею ворвались русские штурмовики. Отступающих встречал отряд Павла Васильевича.

Ударив обухом топора по голове, Павел Васильевич вырубил австрийского офицера. Тот рухнул, как подрубленное дерево, и на мгновение в воздухе повисла густая, тяжёлая вонь крови и пороха. Четверо солдат, обезумевших от страха, сдались в плен. Таких вылазок было много, и каждый раз Павел ловил себя на мысли, что уже не различает, где заканчивается приказ и начинается его собственная воля. Война стирала границы, делала из человека инструмент, который должен действовать быстро, точно и без лишних раздумий. И страшнее всего было то, что со временем он начал привыкать к этому состоянию — как привыкают к холоду или к боли: просто перестаёшь замечать.

Но был эпизод, который врезался в память особенно глубоко. Где-то в начале апреля, во время сильного артобстрела русских позиций, фельдфебель Буртас и унтер-офицер Фролов Илья Осипович, собрав группу из сорока человек, бросили оружие и, подняв руки, пошли к австрийским позициям. Обезумевшие от страха солдаты иногда сдавались с обеих сторон, но сорок человек сразу — это было нечто невиданное. Австрийцы прекратили стрельбу, русская сторона тоже не стреляла.

Подойдя к первой траншее, вся группа вдруг выхватила откуда-то топоры, тесаки, пики и бросилась на австрийцев. Первая траншея была взята в считанные минуты, огневые точки смяты. Во вторую полетели десятки гранат, вызвав панику. Быстрая, отчаянная атака позволила захватить несколько укреплений противника.

Через неделю отряд Павла, сняв постовых, пробрался на позиции австрийцев. Сидевших в «лисьих норах» быстро закидали гранатами. Но из соседней траншеи вырвалось около пятисот австрийцев — силы были неравны. Павел приказал отряду отступать, а сам вместе с Фроловым остался прикрывать.

Рядом разорвалась граната.

Когда Павел Васильевич пришёл в себя, вокруг стояла странная, глухая тишина. Мир на мгновение затаил дыхание. Он не сразу понял, что жив. Лицо было в земле и крови, в ушах стоял тот самый тонкий звон, который он уже слышал после контузии. Рядом лежал Фролов — неподвижный, с раскинутыми руками, будто хотел обнять весь этот проклятый мир и удержать его от падения в бездну.

Павел Васильевич пополз, сам не зная куда. Он цеплялся за землю, будто она могла его удержать. В голове стучало: «Я должен вернуться. Я должен просто выжить». Но тут мелькнула тень — и удар по голове прикладом.

Очнулся он уже в своём окопе, в полутёмном, сыром блиндаже, где пахло плесенью, мокрой глиной и чем-то кислым — так всегда пахло там, где долго не проветривали, где люди жили, болели и умирали, не покидая своих мест. Над ним склонился санитар — молодой парень с усталыми, будто выцветшими глазами.

— Очнулись, ваше благородие… Слава богу. А мы уж думали, что и вас запишут в без вести пропавшие.

Павел попытался сесть, но тело отозвалось тупой, вязкой болью, будто каждая мышца налилась свинцом. Он провёл ладонью по лицу и почувствовал, как под пальцами скрипит засохшая корка грязи, смешанной с кровью.

— Воды… — прохрипел он.

Санитар подал жестяную кружку. Вода была тёплой, мутной, с привкусом железа, но Павел выпил её до дна, не отрываясь.

— Сколько я был без сознания?

— Почти сутки. Тебя притащили свои, еле узнали. Голова в крови, лицо в земле… думали, не довезём.

Он с трудом приподнялся на локте и огляделся. Блиндаж был тесным, низким, потолок местами провис, и с него капала вода, собираясь в лужи на полу. Вдоль стен лежали солдаты — кто на самодельных нарах из жердей и соломы, кто прямо на мешках с песком. Кто-то стонал во сне, кто-то кашлял так, что, казалось, вот-вот разорвёт грудь.

Один из солдат, сидевший у входа, вдруг резко дёрнулся и начал скрести ногтями по мешку, будто пытался отодрать с себя что-то невидимое.

— Вши, — спокойно, почти равнодушно пояснил санитар. — Тут все чешутся. Кто может — вытряхивает шинель, кто не может… тот просто чешется, пока кожу не сдерёт.

Павел вспомнил, как ещё в первые месяцы войны офицеры пытались бороться с этой напастью: устраивали прожарки обмундирования, кипятили бельё, читали наставления. Но здесь, в окопах, всё это быстро превратилось в пустую формальность. Прожарка? Да где взять столько топлива, когда каждый сухарь на счету? Кипячение? А где взять котлы и дрова, когда каждую минуту может начаться обстрел? И вши оставались, плодились, жили своей жизнью, превращая существование солдат в бесконечную, изматывающую пытку.

Он опустил ноги на пол и тут же почувствовал, как холод и сырость мгновенно проникают сквозь сапоги, словно сами земля и воздух хотят вытянуть из него остатки тепла. Ступни ныли, пальцы казались чужими — онемели и одновременно горели изнутри.

— Ноги… — пробормотал он, пытаясь пошевелить пальцами.

— Траншейная стопа, — кивнул санитар. — У многих так. Если не снять с передовой, будет хуже. Может начаться гангрена.

Павел горько усмехнулся:

— А кого снимать? Кто будет держать оборону?

Санитар не ответил. Он и так знал ответ. Здесь не снимали с передовой. Здесь ждали, пока человек сам перестанет держаться на ногах. А потом его либо тащили в тыл, либо хоронили тут же, в ближайшей воронке.

Через три дня Павел Васильевич уже стоял, опираясь на крепкую дубовую палку, которую кто-то из солдат притащил ему из ближнего перелеска. Ноги слушались плохо, ступни горели, будто их держали в кипятке, а пальцы временами совсем не чувствовались. Но он знал: если ляжет ещё хоть на день, то уже не встанет. Не потому, что не сможет — а потому, что совесть не позволит.

Полк получил пополнение. И вот теперь, когда он шёл по траншее, опираясь на палку и стараясь не морщиться от боли, ему навстречу двигалась толпа новобранцев — нестройная, перепуганная, с глазами, в которых ещё жила надежда, что всё как-нибудь обойдётся.

Они были совсем другими, эти мальчишки. Не такими, как те, с кем он начинал войну. Те уже знали, что такое смерть, и не ждали от жизни подарков. А эти ещё верили, что если держаться поближе к старшим, если слушать приказы и не высовываться, то можно уцелеть.

Старший офицер, поручик Лебедев, подошёл к Павлу Васильевичу, слегка наклонив голову:

— Ну, Буртас, принимай пополнение. Тебе виднее, как их учить. Чтобы через неделю могли держать строй и не падали в обморок от первого разрыва.

Павел только молча кивнул. Ему не хотелось ни учить, ни объяснять. Хотелось просто лечь и не вставать. Но он знал: если не научит их сам, их научат пули — и научат жестоко.

Он остановился перед строем, оперся на палку, посмотрел на этих мальчишек и вдруг почувствовал, как внутри поднимается что-то тяжёлое, горькое, почти злое.

— Вы думаете, что война — это про храбрость и подвиги, — начал он, и голос его звучал хрипло, но твёрдо, будто каждое слово приходилось выталкивать из груди силой. — Это не так. Война — это про грязь. Про то, как у тебя гниют ноги, потому что ты не можешь снять сапоги неделю. Про то, как ты чешешься до крови, потому что вши живут в твоей шинели, и ты ничего не можешь с этим сделать. Про то, как твой товарищ умирает у тебя на руках, а ты даже не можешь его нормально похоронить, потому что земля промёрзла, и ты просто засыпаешь его комьями глины.

Новобранцы стояли, не шевелясь, и смотрели на него широко раскрытыми глазами. Кто-то нервно сглотнул, кто-то переступил с ноги на ногу, но никто не отвёл взгляда.

— Я не буду вам врать про славу и честь, — продолжал Павел Васильевич, и в его голосе не было ни пафоса, ни злости, только усталость и правда, тяжёлая, как свинец. — Я скажу вам то, что спасёт ваши жизни. Первое: держите оружие чистым. Второе: не снимайте сапоги, пока не будет приказа. Третье: если видите, что у товарища побелели и вздулись ноги — скажите мне. Траншейная стопа убивает быстрее пули. Четвёртое: не пейте воду из луж. Дизентерия тут косит людей, как коса траву. Пятое: если начнётся «траншейный рот» — тоже ко мне. Это не стыдно. Стыдно умереть от того, что можно было предотвратить.

Он сделал паузу, посмотрел на их лица и вдруг увидел в них не просто страх, а готовность слушать. Они хотели выжить. И он должен был дать им шанс.

— Сегодня вы будете учиться ходить по траншее так, чтобы не поднимать пыль и не привлекать огонь. Завтра — переползать по-пластунски. Послезавтра — держать строй под обстрелом. И каждый день я буду проверять, как вы ухаживаете за обувью и портянками. Кто будет пренебрегать этим — пойдёт чистить сортиры. Это не наказание. Это способ сохранить ноги.

После построения он собрал самых старших из новобранцев и коротко объяснил:

— Ваша задача — следить друг за другом. Если кто-то молчит, что у него болят ноги, но при этом хромает — вы должны сказать мне. Если кто-то пьёт из лужи — остановите. Если

видите, что человек не спит ночами из-за вшей — помогите вытряхнуть шинель. Здесь нет «я». Здесь есть «мы». И если один сломается, сломается вся цепь.

В тот же вечер Павел Васильевич лично обошёл все землянки, где разместили новобранцев. Он смотрел, как они устраиваются, как сворачиваются в комочки на жёстких нарах, как пытаются согреться, кутаясь в тонкие шинели. Он видел, как один из них, совсем мальчишка лет семнадцати, осторожно снимал сапоги и морщился от боли.

Павел подошёл к нему, присел рядом:

— Покажи ноги.

Парень замялся, покраснел:

— Да ничего, ваше благородие, просто натёр…

— Покажи.

Кожа на ступнях была белой, морщинистой, как у старого яблока, местами потемневшей, а на пятках и пальцах появились трещины, из которых сочилась сукровица.

— Это не натёртость, — тихо сказал Павел. — Это начало траншейной стопы. Если сейчас не принять меры, через неделю ты не сможешь ходить.

Он помог парню размотать портянки, осмотрел раны, потом достал из своего мешка сухую чистую ткань и протянул:

— Завтра утром прокипячу эту тряпку. Будешь обматывать ноги только ею. И сапоги не носи, пока не подсохнет. Пусть походит босиком по сухой соломе — это помогает.

Парень смотрел на него с таким удивлением, будто не верил, что кто-то вообще заметил его боль.

— Спасибо, Ваше благородие…

Павел только кивнул. Ему не нужны были благодарности. Ему нужно было, чтобы этот мальчишка выжил.

Ночью он снова не мог уснуть. Боль в ногах пульсировала, отдаваясь в спину, в голову, в каждую клетку тела. Он сидел на нарах, смотрел в темноту и слушал привычные звуки: кашель, стоны, скрип лопат где-то вдалеке — кто-то рыл очередную яму для погибших. И среди этих звуков вдруг прорезался тихий, дрожащий голос: кто-то читал молитву, едва слышно, будто боялся, что сам Бог не захочет его услышать в этом аду.

Павел закрыл глаза и попытался вспомнить запах свежего хлеба, голос Варвары, скрип половиц в родном доме. Но вместо этого перед глазами вставали только грязь, кровь, пустые глаза мёртвых товарищей и эта бесконечная, серая сырость, которая пробиралась под кожу, в кости, в самую душу, выхолаживая её, делая мир плоским и безжизненным.

И в этот момент он вдруг понял: страшнее смерти была не сама смерть, а то, как она становилась обыденной. Как люди привыкали к виду мёртвых тел, к стонам больных, к запаху гнили и крови. Как они учились не замечать, как учились просто выживать, теряя по дороге всё, что делало их людьми.

Но глядя на этих новобранцев, он вдруг почувствовал, что в нём ещё осталось что-то, что он может им передать. Не храбрость, не героизм, а умение держаться. Умение не сломаться, когда кажется, что держаться уже нечем.

На следующее утро он снова выстроил пополнение. На этот раз он говорил не про ужасы войны, а про мелочи, которые спасают жизнь: как правильно наматывать портянку, чтобы не было складок; как сушить сапоги у печки, но не ставить их вплотную к огню; как проверять швы шинели на наличие вшей; как отличать первые признаки дизентерии и «траншейного рта». Он показывал, объяснял, заставлял повторять, пока не убеждался, что каждый понял.

Когда занятия закончились, один из новобранцев подошёл к нему и тихо спросил:

— Ваше благородие, а вы сами… вы боитесь?

Павел посмотрел на него, на этого мальчишку с ещё не обветренным лицом, и впервые за долгое время позволил себе быть честным:

— Боюсь. Каждый день. Но я боюсь не пуль. Я боюсь того, что однажды перестану чувствовать чужую боль. Что стану таким же серым, как эта земля, и буду смотреть на умирающих, как на часть пейзажа. Вот этого я боюсь больше всего.

Мальчишка кивнул, будто понял что-то очень важное, и отошёл.

А Павел Васильевич оперся на свою палку и посмотрел на линию горизонта, где небо сливалось с землёй, и подумал, что, возможно, в этом и есть его долг теперь: не просто учить их выживать, а напоминать, что они — люди. Даже здесь. Даже сейчас.

Глава четвёртая. Пропавший без вести

Весна 1915 года уже доживала последние недели.

На третьи сутки после того, как Павел Васильевич вернулся к службе, небо над позициями раскололось. Австрийцы начали артподготовку на рассвете — ровно, методично, словно отбивали ритм чудовищного, неумолимого барабана. Земля вздрагивала под ногами, воздух становился плотным от гари и пыли, и даже крики тонули в этом сплошном грохоте — звук не мог пробиться сквозь толщу разрывов.

Новобранцев Павел держал ближе к тыловым ячейкам, не подставлял под первые удары. Он знал: если их бросить в бой сразу, они либо разбегутся, либо лягут, не успев понять, что происходит. А он обещал себе, что сделает всё, чтобы эти мальчишки хотя бы увидели второй день.

— Держитесь за стены! — кричал он, перекрывая грохот. — Если начнёт сыпаться — падайте на пол и накрывайте голову руками! И не пейте воду из луж, даже если будет казаться, что это последняя вода на свете!

Он метался по траншее, проверял, чтобы все были на местах, чтобы никто не пытался выглянуть через бруствер, чтобы не было паники. Каждый его шаг отдавался в ступнях острой, колючей болью, но он не позволял себе замедлиться. Боль стала его спутницей — почти привычной, как скрип сапог или запах сырости.

К полудню артобстрел сменился атакой пехоты. Австрийские цепи шли плотным строем, будто не веря, что кто-то ещё может держать оборону. Павел видел, как дрожат руки у некоторых новобранцев, как они стискивают винтовки так, словно это единственное, что удерживает их на земле.

— Огонь по команде! — рявкнул он, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо, без дрожи. — Не раньше! Пусть подойдут ближе. Экономия патронов — это тоже жизнь.

Когда австрийцы приблизились на дистанцию прицельного выстрела, Павел дал команду. Залп прокатился по траншее, сливаясь с разрывами и криками. Павел стрелял сам, целясь быстро и точно, не позволяя себе думать о том, что там, впереди, — не мишени, а живые люди.

Но силы были неравны. Австрийцы подтягивали резервы, заходили с фланга, и вскоре стало ясно: удержать позицию не удастся.

— Отходим к резервной линии! — скомандовал Павел, понимая, что теперь главное — сохранить людей, не дать их перемолоть в ближнем бою.

Он отходил последним, прикрывая отход, следя, чтобы никто не остался. В какой-то момент рядом с ним упал один из новобранцев — тот самый парень, которому Павел помогал с ногами. Осколок ударил его в плечо, и он повалился на бок, судорожно хватая ртом воздух.

Павел бросился к нему, подхватил под мышки, потащил по траншее. Парень был тяжелее, чем казалось, а каждый шаг давался Павлу всё труднее. Ноги уже почти не слушались, боль стала сплошной, заливающей сознание волной.

Они добрались до поворота траншеи, когда впереди раздался топот и крики на чужом языке. Австрийцы прорвались и теперь шли по коммуникационной траншее, отрезая путь к отступлению.

Павел опустил раненого на землю, прислонил к стене, быстро проверил, дышит ли он. Дышал, но слабо.

— Лежи тут, — прошептал Павел. — Не шевелись. Я отвлеку их.

Он выпрямился, поднял винтовку, сделал несколько прицельных выстрелов, выигрывая секунды. Потом развернулся и рванулся в боковую галерею, надеясь увести погоню от раненого парня.

Галерея была короткой и заканчивалась обвалом. Павел понял это слишком поздно: он выбежал к заваленному проходу, обернулся — и увидел, как в проёме появляются фигуры в серо-голубых мундирах. Они шли быстро, уверенно, стволы винтовок смотрели прямо на него.

Один из австрийских солдат выкрикнул команду. Павел медленно опустил винтовку, положил её на землю. Он не хотел умирать здесь, в этой глухой яме, но и не хотел, чтобы его смерть стала бессмысленной.

Его обыскали и связали руки за спиной верёвкой. Кто-то грубо толкнул в спину, заставляя идти вперёд. Павел шёл, стараясь не показывать, как тяжело ему держаться на ногах. Он думал о том парне в траншее — надеялся, что тот выживет, что кто-нибудь найдёт его, поможет.

Их вывели на поверхность. Небо было серым, затянутым дымкой, солнце едва пробивалось сквозь пелену гари. Вокруг лежали тела, перемешанные с комьями развороченной земли. Здесь уже не было ни своих, ни чужих — только мёртвые, которых война уравняла.

Австрийский унтер-офицер что-то быстро сказал, тыча пальцем в сторону тыла. Павла подтолкнули вперёд, и он пошёл, чувствуя, как каждый шаг отзывается в ногах жгучей, пронзительной болью. Он больше не был командиром, не был фельдфебелем — он был просто пленным, одним из многих, кого эта земля приняла и теперь отдавала другой стороне.

В колонне пленных шли и другие русские солдаты — усталые, грязные, с пустыми глазами. Кто-то тихо стонал, кто-то шептал молитвы, кто-то вообще не издавал ни звука, будто уже смирился с тем, что его голос больше не имеет значения.

Павел шёл, глядя под ноги, стараясь ступать так, чтобы не провалиться в воронку, не споткнуться о труп. Он думал о Варваре, о доме, о том, как когда-то ему предлагали пойти в военное училище и как он отказался, потому что не хотел становиться «чужим». Теперь он вдруг понял, что стал чужим везде: и для той мирной жизни, которую помнил, и для этой войны, которая перемолола его и выплюнула, и теперь ещё и для врагов, которые видели в нём только номер, груз, проблему.

Когда колонна остановилась у временного сборного пункта, Павла толкнули к забору из колючей проволоки. Он сел на землю, прислонился спиной к столбу и закрыл глаза. Боль в ногах стала такой острой, что казалось, будто ступни горят. Он чувствовал, как сырость и холод земли пробираются сквозь шинель, но уже почти не замечал этого.

Где-то рядом раздался тихий голос:

— Ваше благородие… вы живы?

Павел приоткрыл глаза. Рядом, прижимая к плечу самодельную повязку, сидел тот самый новобранец. Лицо у него было бледным, но в глазах ещё горел какой-то упрямый огонёк.

— Ты как сюда? — хрипло спросил Павел.

— Меня подобрали… я полз, пока мог. Думал, что если дойду до своих, то всё будет хорошо. А тут…

Павел хотел сказать что-то ободряющее, но не нашёл слов. Вместо этого он просто кивнул и тихо произнёс:

— Главное, что ты жив. Это уже победа.

Парень слабо улыбнулся — сам не верил в это, — и прислонился к забору рядом с Павлом.

И в этот момент Павел вдруг почувствовал, что, несмотря на плен, на боль, на неизвестность впереди, он не один. И, возможно, именно это и поможет им обоим держаться.

Позже, вернувшись к столу, Павел допил свой квас и посмотрел на притихшего Романа.

— А дальше что было? — тихо спросил тот.

— Дальше я узнал, что жить можно даже в плену, — ответил Павел. — Но об этом — завтра.

Глава пятая. Чужая земля

Очнулся Павел Васильевич в каком-то сарае — и первое, что он почувствовал, была не боль, а гулкая тишина в голове, будто мир отстранился от него на шаг. Только потом пришла глухая, тянущая боль в затылке, наливавшаяся с каждым ударом сердца. Рядом, ссутулившись, сидел унтер-офицер Фролов — живой, осунувшийся, с перебинтованной головой. В его глазах читалась не усталость, а та особая, злая обречённость, которая появляется у людей, когда они понимают: надеяться не на что, но сдаваться всё равно нельзя.

— Ты же… — Павел сглотнул. — Я думал — убит тебя тогда, у траншеи.

— Обоих нас контузило одним разрывом, — ровно ответил Фролов. — Австрийцы сгребли всех в кучу — мёртвых от живых отделять не стали. Вот и везут нас вместе.

Павел кивнул. Голова гудела, как колокол, из которого выбили звук, но голос был. И это уже было много.

В сарае было ещё около десяти русских солдат. Кто-то тихо стонал, кто-то беззвучно шевелил губами, словно повторяя про себя молитвы или имена родных. Запах стоял тяжёлый: прелая солома, кровь, пот, нечистоты. Этот запах въедался в кожу, в память, становился частью тебя. У стены, прижимая к плечу самодельную повязку, сидел тот самый новобранец — бледный, но живой. Увидев, что Павел очнулся, он потянулся было к нему, но не решился заговорить. Павел встретился с ним взглядом и кивнул: жив, значит, дотянули и его. И это тоже было много.

«Сколько мы тут? День? Два? — думал Павел Васильевич, прислушиваясь к собственному дыханию, как к чему-то чужому. — Или уже неделя, а время просто перестало считаться?»

Открылась дверь, лязгнул металл, и австрийский солдат поставил на пол два котелка, положил рядом буханку кукурузного хлеба и тут же закрыл дверь, словно боялся заразиться чужой бедой. В котелках оказался кофе — горький, водянистый, с привкусом ржавчины. Павел Васильевич сделал глоток и вдруг отчётливо вспомнил утренний запах свежего хлеба в родной деревне, смех детей у колодца, мамины руки, складывающие в корзину тёплые пироги.

Воспоминание ударило так сильно, что на мгновение потемнело в глазах, а когда он снова смог видеть, то понял, что плачет. Он поспешно утёр лицо рукавом, чтобы никто не заметил, но Фролов всё равно посмотрел на него — и в этом взгляде было не сочувствие, а молчаливое признание: «Мы все здесь плачем. Просто не все показывают».

«А если показать, — мелькнуло в голове Павла Васильевича, — то это уже не слёзы, а признание, что ты сломался. А я не сломался. Пока не сломался».

На следующее утро всех вывели из сарая и повели в сопровождении кавалеристов куда-то на запад. Солнце вставало мутным пятном, не грея, а лишь подчёркивая серость окружающего мира. Лошади шли размеренно, позвякивая сбруей, и этот привычный, почти мирный звук казался издевательством. Один из солдат, совсем ещё мальчишка, споткнулся и упал. Австрийский конвоир что-то рявкнул, мальчишка торопливо поднялся, но в его движениях уже не было прежней резвости — только покорность, тяжёлая, как свинец.

К вечеру их загнали в какой-то загон, где уже находилось около двухсот военнопленных. Здесь была бочка с водой, и все кинулись к ней, потому что пить хотелось неимоверно, до ломоты в костях, до того, что даже мысль о воде становилась почти физической болью. Вода была мутной, с зеленоватой плёнкой, но никто не думал о чистоте. Люди пили жадно, толкаясь, хватая друг друга за руки, за плечи: вода могла закончиться в любую секунду. Кормить их никто не собирался. На толпу кинули лишь несколько буханок гнилого кукурузного хлеба. Кто-то схватил кусок и тут же откусил, не замечая плесени; кто-то, наоборот, смотрел на хлеб с отвращением, но всё равно прятал его в карман — на потом, на самый крайний случай.

Утром их опять куда-то повели. Ноги наливались свинцом, каждый шаг давался всё труднее, а небо казалось всё более чужим, словно оно принадлежало другой земле, другим людям. На третьи сутки они попали во временный лагерь для военнопленных у Вадовице, в селе Клеча Дольна. Лагерь представлял собой территорию, огороженную колючей проволокой, с брезентовыми палатками внутри, которые трепетали на ветру, словно флаги поражения. Русских военнопленных здесь было тысяч двенадцать, не меньше. Голод и вши делали своё дело: люди слабели, теряли человеческий облик, а смерть становилась обыденностью, которую замечали лишь краем глаза.

Когда делили солдат и офицеров, благодаря офицерской шинели Павел Васильевич оказался среди офицеров. Это не было спасением — лишь отсрочкой, тонкой гранью между чуть более сносным существованием и полным отчаянием.

«Если погонят дальше, то нужно попытаться бежать», — предложил Фролов. Голос его звучал твёрдо, но в глазах мелькнуло что-то уязвимое: он сам не верил в успех, но должен был сказать это, чтобы не сойти с ума.

Третьим в их затее с побегом стал поручик Ветров. Звали его просто Сашка Ветров. Весёлый, всегда травил анекдоты, и в его рассказах даже этот адский лагерь на мгновение становился чуть менее страшным. А если грустил, то читал книжку на французском языке — Эмиля Золя. Павел Васильевич не понимал ни слова, но слушал, как слушают шум дождя в детстве: не ради смысла, а ради ощущения, что мир ещё может быть другим.

Через неделю их пребывания в Вадовице группу из пятисот человек повели на запад, вглубь австрийской империи. Дорога тянулась бесконечной серой лентой, и каждый шаг отдавался в висках тупой болью. По дороге им попалась опрокинутая телега, возле которой валялись гнилая картошка и брюква. Несколько военнопленных с голодухи кинулись собирать картошку. Охрана отвлеклась на них, и они втроём — Павел Васильевич, Фролов и Сашка — рванули в кусты, а дальше в овраг. Раздались выстрелы, пули щёлкали по стволам деревьев, словно злые насекомые. Но погони не было. Пробежав пару вёрст, они сели отдышаться. Грудь разрывало от кашля, а в горле стоял горький привкус страха и свободы. Хотелось есть так сильно, что даже гнилая картошка казалась деликатесом.

К вечеру они вышли к какому-то хутору. Сашка сказал, что это панский хутор, и ушёл разведать. Вскоре раздался лай собак, потом выстрел охотничьего ружья. Через несколько минут сквозь треск веток появился Сашка. «Пан тут какой-то живёт, сдаст нас австрийцам, уходить надо отсюда», — прошептал он, задыхаясь. И тут же достал из кармана три яйца. Они разбили их и выпили, чувствуя, как тёплая жидкость на мгновение прогоняет холод изнутри.

На третий день их блужданий по лесу они нарвались на патруль. Бежать не было смысла: силы кончились, а лес словно сам выталкивал их на открытое место, где их и схватили. Их привели в какую-то деревушку, где сидело ещё несколько беглых военнопленных. Воздух здесь был пропитан страхом и пылью, и даже птицы не пели — будто знали, что здесь не место для жизни.

Для устрашения одного из военнопленных решили наказать. Его поставили спиной к дереву, обвязали ноги около щиколотки верёвкой, перекинули верёвку через ветку, привязали руки и подтянули вверх. Затем убрали чурбак. Получилось, что солдат висел на гвозде, вбитом в дерево. Лицо его исказилось от боли, но он не кричал — только глухо стонал, и этот стон проникал под кожу, разъедая остатки мужества.

Павел Васильевич смотрел на это, и внутри у него всё сжималось, словно кто-то медленно выкручивал жилы. «Не смотри, — твердил он себе, — не смотри, иначе ты станешь таким же, как они: будешь делать это и не чувствовать». Но он не мог отвернуться. Он должен был видеть. Должен был запомнить, чтобы потом, если выживет, никто не смог бы сказать, что этого не было.

Зрелище было столь отвратительным, что Павел Васильевич выругался сквозь зубы и отвернулся, но даже с закрытыми глазами он видел эту картину, слышал этот стон, чувствовал запах пота и крови. Где-то часа через два солдата отпустили. К тому времени он уже потерял сознание. С трудом придя в себя, он сильно стонал, и в этом стоне было столько боли, что она казалась заразной.

Вечером их привели на железнодорожную станцию, где стоял состав с военнопленными. Их затолкали в вагон, и так уже полный людьми. В вагоне раньше возили скот, и весь пол был в навозе. Страшный смрад вызывал рвотный рефлекс, а духота была такой, что каждый вдох давался с трудом. Окошек в вагоне не было, и темнота становилась ещё одним мучителем. От духоты и тесноты кто-то терял сознание, кто-то кричал и бился в истерике, а остальные просто сидели, прижавшись друг к другу, — не от тепла, а от невозможности отодвинуться хоть на сантиметр.

«Мы как дрова, — подумал Павел Васильевич. — Нас везут, чтобы сжечь. Только огонь здесь — это время и голод».

На станциях из вагона снимали умерших, давали немного воды и хлеба. Хлеб был с соломой, но и этому они были рады — радость эта была горькой, вымученной, но настоящей. Наконец они прибыли в местечко Яблонне недалеко от города Либерец — в чешской земле Богемии; австрийцы называли его Дойч-Габель.

Они сами построили семь бараков для солдат и два барака для офицеров, туалеты, лазарет и барак для больных холерой. Вначале их было около четырёх тысяч, и места хватало. Но эшелоны с пленными всё приходили и приходили, и вскоре их стало больше десяти тысяч. Пространство сжималось, воздух становился всё тяжелее, а человеческая жизнь — всё дешевле.

За малейшую провинность могли заколоть. Во время раздачи еды образовалась давка: задние ряды толкали впереди стоящих, и этот напор был неукротим, как стихия. Один военнопленный случайно задел австрийского солдата, и тот тут же заколол его штыком, нанеся не менее восьми ударов. Кровь брызнула на пыльную землю, и на мгновение всё вокруг замерло. Они молча смотрели, и в этой тишине было больше ужаса, чем в любом крике.

Кормили их очень плохо: похлёбка из молотых костей, какой-то травы и дохлой конины. Когда давали брюкву или квашеную репу — это был праздник, крошечный островок нормальной жизни в океане страданий. От постоянного голода Павел Васильевич сильно исхудал: кости стали острыми, кожа — прозрачной, а взгляд — пустым, будто он уже наполовину ушёл из этого мира.

Ночью в бараке стояла такая тишина, что слышно было, как где-то в углу скребётся крыса. Павел Васильевич лежал, уставившись в темноту, и пытался не думать о голоде — тот уже не жёг, а просто стал частью его тела, словно вторая кожа. Вдруг из дальнего угла донёсся сдавленный шёпот:

— Не надо… не надо…

Это стонал молодой солдат, которому накануне раздробило пальцы на ноге. Его не взяли в лазарет: мест не было. Теперь он бредил, дёргался и хватал воздух руками, пытаясь поймать кого-то, кто мог бы ему помочь. Рядом с ним сидел приятель и молча прижимал его к нарам, чтобы тот не бился головой.

— Держись, Ваня, держись, — шептал приятель, хотя сам дрожал так, что зубы стучали.

Павел Васильевич закрыл глаза, но перед ними всё равно стояло лицо Вани, искажённое болью. Он вдруг вспомнил, как в детстве видел, как умирает лошадь: она тоже смотрела на людей, будто ждала, что кто-то скажет: «Всё будет хорошо». Но никто не сказал. И сейчас никто не скажет.

Когда Ваня затих, приятель ещё долго сидел, не выпуская его руку. А потом тихо, почти беззвучно заплакал — так, что слёзы капали прямо на доски. Этот тихий плач был страшнее любого крика, потому что в нём не было надежды.

Однажды утром австрийский унтер-офицер вызвал из строя пятерых человек. Среди них оказался Сашка Ветров. Их поставили у стены, и Павел Васильевич почувствовал, как земля уходит из-под ног.

— Один из вас скажет, кто прятал куски хлеба, — ровно произнёс унтер-офицер, будто речь шла о забытой вещи, а не о жизни. — Если никто не признается, расстреляем всех пятерых.

Сашка стоял, выпрямившись, и смотрел прямо перед собой. В его глазах не было страха — только упрямое, почти детское нежелание верить в происходящее.

Тишина повисла над двором, густая и липкая, как смола. Кто-то из стоящих рядом задышал чаще, кто-то прошептал молитву. Павел Васильевич сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Он знал, что один человек действительно прятал хлеб — тот самый парень, который вчера делился с ним последним куском. Но если Павел скажет — предаст его, и того расстреляют вместо Сашки. Если промолчит — расстреляют всех пятерых, среди них и Сашку.

Унтер-офицер медленно поднял руку, давая знак солдатам с винтовками.

— Я! — вдруг выкрикнул Сашка, шагнув вперёд. — Это я прятал.

Никто не успел ни возразить, ни понять, зачем он это сделал. Он просто не хотел, чтобы кто-то другой взял вину на себя.

— Забирайте его, — холодно сказал унтер-офицер.

И Сашку увели. Павел Васильевич смотрел ему вслед и понимал, что только что видел самый страшный подвиг в своей жизни — подвиг, который никто не заметит и не запомнит.

Однажды им дали не похлёбку, а просто горячую воду с щепоткой травы. Люди пили её жадно, обжигая губы и глотки, потому что даже эта горькая жидкость ненадолго обманывала желудок.

Павел Васильевич стоял в очереди, чувствуя, как дрожат руки. Когда ему наконец протянули жестяную миску, он поднёс её к губам и вдруг увидел, как один из пленных, совсем мальчишка, споткнулся и пролил миску. Он упал на колени и с отчаянием смотрел, как вода впитывается в землю.

Кто-то рядом выругался, кто-то отвернулся, но никто не протянул ему миску. Потому что каждый понимал: если отдаст свой глоток — сам не выдержит.

Мальчишка поднял глаза — в них не было злости, только бесконечная, детская обида на мир, который вдруг стал таким жестоким. Павел узнал его: тот самый новобранец, которого он вытащил из траншеи, тот, чьи ноги он лечил сухой тряпкой. Тот самый.

— Возьми, — хрипло сказал Павел Васильевич, протягивая миску.

Мальчишка замер, не веря, потом схватил её обеими руками и начал пить, не отрываясь, пока не выпил всё до последней капли. А потом посмотрел на Павла Васильевича и прошептал:

— Спасибо… я вам потом отдам.

Павел Васильевич только кивнул. Он знал, что никто никому ничего не отдаст. Здесь не было «потом». Здесь было только «сейчас» — и это «сейчас» было слишком тяжёлым, чтобы в нём оставалось место для благодарности.

Как-то раз среди вещей, конфискованных у новых пленных, нашли пачку писем. Австрийские солдаты ради забавы бросали их в грязь, топтали сапогами, рвали на клочки.

Один из русских пленных бросился к письмам, пытаясь спасти хоть что-то. Его ударили прикладом, но он всё равно продолжал собирать обрывки, прижимать их к груди — это были не бумажки, а живые люди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.